
Александр ОЛЕКСЮК

ПРЕДМЕТЫ

Цикл миниатюр

Старый дорожный каток

На тупиковой улице, упирающейся в городской сквер, в пространстве между киоском Роспечати и железным скворечником с табличкой «Ремонт обуви», стоял старый автодорожный каток.

Он был брошен уже давно и успел как следует заржаветь и пустить корни. Когда-то рабочие, строившие дорогу, аккуратно оставили желтого крепыша у забора и удалились. Каток стоял день, два, три, никто его не забирал. Наступила осень. Сиденье катка, обитое бордовым дерматином, осыпали желтые листья, которые сначала превратились в похухлую крошку, однако со временем подмерзли и смешались с грязью. Машину по-прежнему не забирали.

Зимой каток укрыло снегом — детали конструкции стали неразличимы, поэтому издалека его можно было принять за какую-то военную инженерную машину. Наверное, катку нравился этот бал-маскарад.

Неуклюжий, брошенный тяжеловес дремал под одеялом из снега и видел себя на полях сражений. Вот он мчится по вспаханной Родине, расплющивая врагов своим могучим цилиндром, прыгая через окопы и блиндажи. Свистят пули, рвутся снаряды, а ему все трын-трава — он несется вперед и раскатывает неприятеля в тонкое, пестрое полотно.

Под его цилиндром хрустят Вена и Цюрих, Берлин и Баден-Баден, Нью-Йорк и Тель-Авив. Города и страны, попавшие под каток, превращаются в яркие, красочные ковры, в фотообои для старой кухни на даче, в картинки с почтовых марок, в воспоминания.

Однажды наступает победа: верхом на катке торжественно едут счастливые дети с флажками и шариками, женщины осыпают его нелепые колеса цветами.

В реальности все было иначе: весной каток обгадили птицы, покрыв металлический торс белыми кляксами. Он стоял никому не нужный, всеми забытый, тяжелый и одинокий, как могильная плита. В какой-то момент каток окончательно утратил строительную идентичность: «Машина растеряла свое естество», — мог написать бы Андрей Платонов.

Это случилось в июне, когда, задыхаясь от тополиного пуха, забивающегося во все щели, каток лениво наблюдал за тем, как худощавый мужчина в вытанутой футболке ловко облил его бочок клеем и припечатал объявление: «Дискотека башкирской молодежи, выступают модные диск-жокеи!»

Александр Сергеевич Олексюк родился в городе Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) в 1986 году. Главный редактор сайта horgnews.com. Публиковался в журналах «Урал» и «Нева». Живет в Челябинске.

«Начало конца», — грустно подумал каток.

Вскоре объявления посыпались как из рога изобилия. Каток медленно покрывался предложениями купить волосы, аккумуляторы, олени рога, снять квартиру посуточно. Все больше он ассоциировался с вечностью. Вечность пахнет не нефтью, а объявлениями о продаже участка в СНТ «Медик».

Однако всегда был кто-то, кто очищал желтое брюхо катка от рекламного сора. Незнакомец приходил ночью и отколупывал бумажки от проржавевшего туловища. Все, кроме той первой, с анонсом башкирской дискотеки. Эта была печать вечности.

Спустя несколько зим каток заметил, что дорога, над которой он когда-то пыхтел, уже постарела, покрылась глубокими морщинами, из них росли васильки и трава. Каток решил больше никогда не просыпаться и заснул навеки. Когда-нибудь его изъеденное ржой тело заберут, выбросят на металлолом и, возможно, переплавят. Каток превратится в лучший в мире танк Т-90 «Прорыв» и с боями вкатится в город Берлин.

Я любил бывать у катка, часто проходил мимо и говорил: «Привет, братец каток. Как твои дела?» — «Как обычно», — всегда отвечал каток. И только один раз он спросил у меня:

— Как ты думаешь, насколько долго тебе нужно стоять, прислонившись к столбу у дороги, чтобы объявления стали приклеивать не только на столб, но и на тебя?

— Не знаю, наверное, месяц, — ответил я.

— Угу, — промычал, каток. Он был мудрый и сразу понял, что я соврал, ведь хватит и всего пары дней.

Пни из каслинского литья

Мужчина, похожий на сильнопьющего Сергея Эйзенштейна, угрюмо стоял возле памятника Первой учительнице и продавал всякую чепуху. У продавца были всклокоченные кудрявые волосы, высокий лоб и лицо в серых, глубоких рытвинах. Казалось, будто в Эйзенштейна выстрелили мелкой дробью, перепутав его с лисицей или глухарем. В нем, кстати, имелось что-то от глухаря — хорошо заметная строгость, несмотря на довольно ветхий, унылый вид.

Брат-близнец режиссера разложил товар прямо на бордюре, поверх бархатного знамени какого-то артиллерийского полка. На полотне поблескивал стандартный набор уличного старьевщика: значки, старинный подстаканник, столовое серебро, швейная машинка «Зингер» и пеньки из каслинского литья. Это был самый странный товар в ассортименте Сергея Эйзенштейна — три увесистых чугунных пня.

Каслинский завод архитектурно-художественного литья за полтора столетия отлил множество статуэток, тысячи вариантов. Например, чугунный павильон, выставленный в Париже в 1900 году. Громадина с изысканными узорами настолько очаровала французов, что они отдали павильону гран-при на всемирной выставке. Или маленького крепыша мамонта с откручивающимися бивнями, который несколько лет стоял у нас на подоконнике. Мамонта мне отдал сосед — пожилой урка дядя Миша. Однажды ему очень хотелось выпить, и он под залог мамонта попросил у меня триста рублей на бутылку. Когда я ссудил деньги, дядя Миша бодро достал статуэтку из внутреннего кармана безразмерной куртки и наспех рассказал, в чем же прелесть железного каслинца. «Это мы еще в семидесятые делали, по молодости лет. Берешь слона, вот так в шарф заворачиваешь, узлом, — объяснял дядя Миша, — и получается кистень». Деньги сосед не вернул, поскольку, прикончив бутылку, той же ночью взломал ларек и уже на следующий день поехал в СИЗО. Мамонт остался у меня, в минуты печали я брал его с подоконника, заворачивал в шарф, как учил дядя Миша, и размахивал получившимся кистенем, словно нунчаками. Убивал чугунным мамонтом демонов уныния.

А тут, значит, пни. Если к мамонту не имелось вопросов — он практичный и красивый, — то пни казались монструозными и нелепыми. Кому придет в голову поставить в сервант три иссиня-черных пней? «А это что такое?» — спросят гости. «А это, знаете ли, пни», — ответите вы. Сложно сказать, чем руководствовался скульптор завода, когда решил отлить подобный сюжет. Наверное, подозревал что-то. Что-то подзревать начал и я.

Пенек — символ умиротворения — сухой, кряжистый пень. Он никуда не спешит, никуда не растет, он завершился, закончился. Когда-то в его ветвях гнездились птицы, а теперь они улетели — ни птиц, ни ветвей, ни ствола. Дерево сожгли в печке или наделали из него скалок, гробов и колотушек. Остался один пенек, из него ничего делать не стали. А зачем же он тогда нужен? А чтобы на нем сидеть! Когда весь мир начнет лететь в тартарары, можно бегать туда-сюда, как дурак, а можно сесть на пенек и тихо поглядывать по сторонам. Это всяко лучше бесплодной суеты и истерик.

Чугунные пеньки напоминают о том, что все завершается. И птицы прекращают петь, и ветви более не шумят, и ноги ходят с трудом, зато есть удобный пень. Пожалуй, набор каслинских пней — это лучший подарок на день рождения! Он поможет имениннику не размениваться по мелочам и настроиться на особый философский лад.

Сергей Эйзенштейн продавал их по чetyреста рублей за штуку.

— А на фик они нужны, эти пни? — на всякий случай спросил я, понимая, что обязательно куплю их и поставлю в сервант.

— Да это так-то — карандашницы, — ответил продавец. — А еще их как стопки можно использовать, там граммов по семьдесят примерно. У меня дома такие, так мы из пней водку пьем.

Сергей Эйзенштейн явно повеселел, заметив, что я достаю портмоне. Придет домой, никуда не будет спешить, порежет сало с лучком и накатит огненной воды из чугунных каслинских пней. В этот вечер он замедлит жизнь и будет созерцать в тишине.

Конь с изгородью

В современном городе тысячи лавочек звенят дверными колокольчиками, шумят кондиционерами и пестрят вывесками. Улица покрыта ими, словно ветрянкой: «Татуаж бровей» соседствует с пирожковой, рядом — «Салон кофе и чая», еще через два метра — «Копии. Фото на паспорт». Немилосердный капитализм откусил у народа часть сердца и две трети времени, а взамен упаковал в глянцевую бумагу возможность организовать какую-нибудь невразумительную торговлю блестками и чехлами для телефонов. Шанс дается почти любому — вне зависимости от навыков, талантов и средств человека. «Возьми кредит, открой дело, стань бизнесменом и не работай на дядю», — говорит хитрый капитализм и облизывается.

Каждый второй несостоявшийся буржуа, оформляя статус ИП в налоговой инспекции, лелеет надежду, что именно его блестки и именно его салон педикюра станут фундаментом для будущей империи Генри Форда. Но мир устроен иначе, а потому — вывески меняются чаще, чем к ним успевают привыкнуть дворники и почтальоны. И если сетевые магазины еще могут долго работать, не меняя прописки, то микробизнес лопается, будто пузырьки в упаковке с машинкой для удаления катышков. Вот ты торгуешь блестками, не успел оглянуться — а уже блестки торгуют тобой. Спустя несколько недель на окне лавки появится наклейка: «Аренда».

Однажды я задумался: а сколько инкарнаций может выдержат типичная квартира в брежневке, переделанная под «нежилое»? Сотни? Тысячи? Жилище, задуманное для чаепитий и семейных советов, вынуждено пропускать через себя чьи-то несконча-

емые проекты, как дешевая проститутка, которая не выбирает клиентов. В доме аккуратно шелестели тапочками по паркету и бегали босыми ногами, но прошло время, и теперь какие-то пронырливые люди заходят туда в грязных ботинках, вносят стеллажи, выносят стеллажи, что-то вечно городят, перестраивают, приколачивают и сносят. Если бы стены могли — они бы выли: слишком много злых теней отпечатывается на них. А вместе с тенями отпечатываются надежды, радости, человеческие сомнения и разочарования. Бетон чаёт монументального постоянства, один хозяин — одна судьба, но после перевода в «нежилое» его ожидает свальный грех и изнуряющая суета.

В небольшом офисе, мимо которого я часто ходил туда-сюда, одно время принимал клиентов мануальный терапевт Марат, потом там продавали сухофрукты крикливые азербайджанцы. Вскоре они съехали, и на их место пришла молодящаяся бабуля с мелочовкой из «Икеи». Сегодня — это кальянная, от которой на много метров вокруг пахнет чем-то сладким и стыдным.

Рядом с кальянной — еще одно заведение. Пару лет назад его занимали киргизы, торгующие шаурмой. Они работали круглосуточно и в принципе ничем особенным не отличались. Разве что спали прямо там же, где и готовили — в одной из комнат, деликатно прикрытой ширмой. Мне почему-то казалось, что киргизы влезли в почти невинное помещение, превращенное к «коммерческую недвижимость» совсем недавно. Его стены еще помнили старый ковер, когти кота, острые плечи хозяйки и запах лекарств. Классическая ситуация: квадратные метры могли принадлежать дедушке с бабушкой, они умерли, предприимчивые внуки решили не продавать их жилье, а оформили все документы, получили разрешение, принарядили квартиру, ярко ее накрашили и выставили на панель.

Заехавшие туда киргизы особенно не церемонились ни с ремонтом, ни с чем бы то ни было — воткнули посреди зала барную стойку, поставили печку, холодильник и вертел для мясных туш. Над их головой чернела эпитафия антресолей — память от прошлых хозяев. Архитектурная особенность комнаты делала эту нишу почти незаметной, едва уловимой в темном углу, но если приглядеться, то там можно было различить несколько клетчатых баулов и чугунную статуэтку коня с изгородью.

Киргизы работали ловко и ладно. Зажимая шаурму в горячих тисках, рассказывали мне о волнениях в Оше и исламистах.

В один прекрасный день история восточного павильона закончилась. Как всегда в таких случаях — внезапно: просто однажды его двери оказались закрыты. Вскоре убрали вывеску «Шаурма», и через несколько недель какие-то девочки открыли там кафе с хачапури. Девушки тщательно выскребли-вымыли помещение, прогнали киргизский дух и сделали место модным и крафтовым. Стены расписали портретами веселых грузинов с усами, но нишу антресолей почему-то не заметили и коня не убрали. Он стоял все там же — монументальный друг монументальных бетонных стен, тяжелое, чугунное постоянство посреди дискотеки.

Девочки были деятельными, бодрыми, но немного экзальтированными: выставили пару столиков на улицу, примостили рядом плетеные кресла, подавали молодые вина и, очевидно, думали, будто в нашем пролетарском районе возымеют шумный успех. Несложно догадаться, что они ошибались — надо было открыть очередную пивную.

Однажды, проходя мимо, я зашел к ним на огонек, заказал хачапури по-аджарски и спросил: а где же киргизы? Те рассказали, что киргизы куда-то смылись, причем бежали так быстро, что впопыхах бросили свои вещи. Бросили и машину — «Жигули»-семерку, которую всего за год малолетняя шпана сумела превратить в металлические руины.

Периодически я заходил к девочкам — посмотреть, не убрали ли они коня с изгородью. Лошадь неизменно оказывалась на месте, успокаивая меня, фыркая в ухо железными губами: «Не переживай, братец, пустое, суетное пройдет, а ты не пройдешь, не пройду и я». Так продолжалось несколько лет, и все это время меня не покидало тяжелое предчувствие, что хозяйки грузинской пекарни вот-вот разорятся, квартиру вновь выставят на панель и новые владельцы выбросят коня с изгородью.

Недавно это случилось: пекарня закрылась, а на ее месте в кратчайшие сроки воткнули микрофинансовую организацию «Быстроденьги» — из тех, что дает кредиты под десять тысяч процентов, а потом продает долги коллекторам. Я зашел посмотреть, не убрали ли они нишу с конем, оказывается — убрали: нишу заложили, поверх нее повесили плазменную панель с курсом валюты. Рано или поздно это должно было случиться: суетное и зыбкое окончательно победило постоянное, ковер забылся, когти кота забылись, стены выровняли и покрасили, заплаканная профурсетка с потекшей тушью побежала вдоль трассы.

Торба

Принты на торбах всегда трескаются по-особенному, как краска на картине Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой», как скорлупа на пасхальных яйцах, как чьи-то кособокие судьбы. Один знакомый рассказал трогательную историю о говорящей торбе, которая тоже потрескалась перед тем, как окончательно умолкнуть.

Это был мешок с портретом Курта Кобейна из группы «Нирвана». Кобейн всему радовался, все принимал, ничего не чурался и неизменно участвовал в клокочущей юности братца.

«Клади молоток прямо в торбу, — по-хозяйски советовал Кобейн с заляпанной мешковины, — пригодится, нам через КПЗиС идти».

«Сложи в меня куртку, вместо подушки будет, спи, вон, в кустах, не волнуйся, не холодно», — весело подбадривал человек с шальным взглядом.

«Сейчас нам, кажется, навалеют», — предупреждал американский панк и косил глазом в сторону двух хмурых парней в спортивных костюмах.

Однако если парнишка от ночевки в пустых и холодных парках крепчал телом и духом, его верный ординарец постепенно чах и разваливался. Каждая пластиковая бутылка с пивом, воткнутая в торбу, укорачивала недолгий век дешевого принта. Лицо на торбе постепенно трескалось, смазывалось и медленно осыпалось синеватой пылью, как бы повторяя участь всамделишной головы Кобейна, простреленной из ружья весной 1994 года.

Когда кумир молодежи почти исчез и остался лишь один его рот, он спросил у братца:

— Расскажи мне, откуда я взялся?

Мой знакомый сидел на большом бетонном сундуке, зачем-то поставленном в центре двора, и курил сигареты «Святой Георгий» из мягкой пачки.

— Я купил тебя в магазине для говнарей, — грустно ответил братец. — Ради этого я целый месяц измерял температуру крысам и кроликам.

— Зачем ты это делал? — поинтересовался рот.

— Деньги на торбу я заработал в вивариуме при медакадемии. Там разводили крыс и кроликов, которых потом потрошили студенты. У меня был свой любимец — большой белый кролик с красными глазами, похожими на бруснику.

— Как звали этого кролика?

— Его звали Курт Кобейн.

— Что с ним случилось?

— То же, что и со всеми. Его выпотрошил студент третьего курса по фамилии Шах-базян. После этого я взял расчет и пошел в магазин за торбой.

Курт Кобейн замолчал, а спустя несколько дней его рот ровно посередине прорезала широкая брешь: братец попытался засунуть в торбу средних размеров собачью конуру и не рассчитал габаритов. Брешь залатали, и торба с бледным пятном, оставшимся от портрета Кобейна, еще какое-то время служила семейству нашего братца. Обычно в конце августа в ней привозили из сада картофель, пучки свежей моркови, огурцы и бесчисленное количество кислейшей антоновки.

«Я не могу понять, почему в эту торбу вмещается так много яблок? Навскидку — килограммов двадцать-тридцать», — удивлялась мама братца, с опаской косясь на мешок в углу.

«Потому что это волшебная торба», — отвечал мой знакомый.

Плюшевая голова

Под старым тополем, в куче пожухлых листьев лежала огромная голова плюшевого медведя. Старая, грязная, бесконечно унылая, впитавшая в себя ведро мутной дождевой воды. Издалека она напоминала свернутый в аккуратный кругляш тулупчик: женский или, может быть, детский.

На голове отсутствовала фабричная морда, ее как бы стерли, имелись лишь короткие, немного кривые уши. Но зато были пуговицы. По несколько пуговиц обозначали глаза медведя — с красными, как рябина, зрачками, — две зеленых пуговицы рисовали нос, и всего одна — рот. Все они были круглыми, поэтому казалось, будто голова широко открыла пасть и выпучила глаза. От удивления или ужаса.

Когда-то она крепко сидела на пухлом косматом туловище, ночуя в углу детской комнаты или на двухъярусной кровати, разрисованной фломастерами, на подоконнике или маленьком деревянном стульчике из «Икеи». Потом кто-то умыл ее волшебной водой, и вместо добродушной и глупой морды остался лишь волосяной шар. Тонкие детские пальцы старательно пришивали к нему пуговицы, взятые в жестяной банке из-под конфет монпансье. Неумело, вкривь и вкось.

Этот странный медведь мог жить в детской или на худой конец дремать под потолком, на пыльной оконечности шифоньера. Туда часто отправляются доживать свой век плюшевые великаны, вышедшие в тираж — более никому не нужные, забытые, с грязным слипшимся ворсом, как у больных зверей. Их жалко выбросить, но они занимают слишком много места, а значит, их депортируют на платяной шкаф — в тихий, утробный лимб. Однако медведя ждала другая судьба.

Его голову усекновили и бросили с этими трогательными пуговицами под старый тополь: мучительно долго перегибать, превращаться в гумус и торф.

Мне стало жалко голову. Я отряхнул ее от налипших окурков с листьями и водрузил на металлический столб у забора. Пусть стоит, словно огородное пугало. Это будет беззвучно кричащий памятник исколотым пальцам и кукольным чаепитиям, пуговицам в баночке и фее Драже. Памятник прожитому, невозвратному детству, ушедшему в подсознание. Детство посадили на шифоньер, а голову мишки бросили под старый тополь.

Много раз я видел таких пыльных медведей на шифоньерах. Особенно когда работал репортером на телевидении и часто бывал дома у разных людей — чаще всего несчастных, которые пытались добиться правды через прессу. Зачастую люди сидели за столом, раскладывали на нем, как пасьянс, различные документы и старые фо-

тографии из альбомов, а со шкафов за ними с любопытством следили забытые медведи, розовые слоны и зеленые зайцы. Молчаливые свидетели основательно прожитой жизни.

В квартирах, где больше не живут дети, эти подпотолочные жители смотрятся жутко. Дети выросли и разбежались, словно капельки ртути, а их друзья продолжают сидеть и ждать кукольного чаепития, которое никогда не наступит.

Монумент просуществовал недолго. Сегодня я проходил мимо и не обнаружил голову на столбе, она лежала рядом, и ее припорошило снегом. Возможно, голову случайно сбил плечом худой подросток-акселерат. Шел, не заметил голову на столбе — бац плечом — и вот она уже покатила, будто ее снова срубили. Подросток прошел мимо, а голова осталась лежать под деревом.

Скоро наступит зима, кругляш затвердеет, превратится в булыжник и полностью покроется снегом. Станет горкой у тополя. Мимо него будут проходить сотни и тысячи человек, и никто не подумает, что в этой снежной берлоге спит медвежья голова с лицом из пуговиц — печальный памятник забытому детству.

Когда придет весна, я разбужу голову и снова поставлю ее на столб.

Плакат Монро

Когда-то мы жили мужской коммуной, и нашу холостяцкую кухню, пропахшую бычками в томате, куревом и подгоревшим хлебом, согревала томная улыбка Мэрилин Монро.

Заморская актриса весело наблюдала за суровым, прогорклым бытом с большого черно-белого плаката и олицетворяла женское начало в мужском коллективе. Она полужела на кушетке с бокалом аперитива в руках и тихо шептала каждому из нас: «Happy Birthday, Mr. President». — «И тебя, мать, с праздником!» — отвечал ей кто-нибудь, чокаясь с красавицей стопкой рябины на коньяке, щербатой кружкой с крепкой «Охотой» или стаканом чая.

Иногда мне было жалко Мэрилин, мне казалось, будто она заснула в своих калифорнийских апартаментах, а когда проснулась — обнаружила себя в нашем душном полупритоне. Ей бы закричать, но лицо сковала пришитая улыбка, а руку приклеили к стакану с виски. Но потом я внимательно вглядывался в ее глаза — порочные, видевшие всякое, готовые ко всему — и успокаивался: Мэрилин ночевала у нас добровольно. Как условно съедобный гриб-синявка, прыгнувший в лукошко, откуда не видит грибник, как Белоснежка в гостях у гномов.

Несмотря на трогательное отношение к американке, мы почему-то повесили ее аккуратно над плитой. Видимо, проявив таким образом бессознательную мизогинию, как модно сейчас говорить, дремучий мужской шовинизм и другие сексистские мыслепреступления. Мол, знай, баба, свое место.

Место, кстати, было не самое завидное. У нас стояла и коптила старая дешевая плитка о двух конфорках, с проводами, перевязанными синей изолентой. Неудивительно, что вскоре Мэрилин Монро закапало жиром.

Поначалу жирные пятна покрыли кушетку, на которой блондинка возлежала в игривой позе, потом ее брюки, топик, волосы. Спустя полгода жир от жареной колбасы, картошки, яиц и прочей бесполезной холестериновой, мужской еды добрался и до томной улыбки... Она расплылась, искривилась, стала походить на черт-те что такое, казалось, будто Мэрилин разбил инсульт.

«А подружка-то наша, того, подурнела, вся в жирных пятнах. Фу! Давайте же снимем ее, братцы, а то срань какая-то получается, противно смотреть», — немилосердно сказал кто-то из нас и полез снимать красавицу со стены.

Плакат засунули под диван. Он лежал, скрученный в подзорную трубу, стянутый резинкой, и никто не решался его выбросить. Как будто все думали, мол, полежит девица в темноте и покое, проспится, и ее вновь можно будет вернуть на кухню. Там было скучно без Мэрилин. Место над плитой обозначал пустой, одинокий прямоугольник — четыре белых отметины по углам, возникших из-за сорванных скотчем обоев. Символ небытия — след прямоугольника над плитой.

После ухода калифорнийской дивы кухня, да и вся квартира вдруг сделались пустыми и страшными: не с кем было чокаться рябиной на коньяке, не перед кем стало зачесывать волосы на пробор, как у Фрэнка Синатры, никто не смотрел томно.

Мы могли бы, конечно, разбудить красотку или повесить такую же, только новую, но что-то надломилось, треснуло. Коммуна еще немного пожила, погрузила, попела печальных мужичьих песен, а потом братцы ушли из холодной, горькой квартиры кто куда, а Мэрилин так и осталась лежать под диваном, наверное, до сих пор там лежит.

Чертово колесо

Однажды вечером мне позвонили. Незнакомый мужчина спросил:

— Алло, это чертово колесо?

— Нет, это, это... — я немного замешкался, меня впервые принимали за чертово колесо, — это человек.

Мой голос прозвучал неуверенно.

— Вот как...

— Ага.

— Извините.

— Ничего страшного.

— До свидания.

— До свидания. С праздничком, — в тот день что-то отмечали.

— И вас с праздничком.

Я повесил трубку и подумал, что незнакомец на другом конце провода наверняка звонил чертовому колесу в парке Пушкина. Слишком печальным и сочувствующим казался его голос.

Это колесо было старым, относительно невысоким и ржавым. Разноцветные кабинки с облупившейся краской скрипели, покачиваясь на ветру. Внутри стояли истерзанные, исцарапанные ножичками лавки, которые можно было читать как летопись.

Кривыми бороздами темнели даты чьих-то веселых катаний. Многие из них записывались еще на старорежимный манер, например, 05/VII.89 — с обязательной римской цифрой, обозначающей месяц, и косой чертой, отделяющей его ото дня. Года с 1995-го произошел слом эпох, Рим окончательно пал, и месяц в дате начали обозначать, как мы привыкли — арабскими цифрами. Примерно до «нулевых» их усердно царапали и выскребывали на пластиковых сидухах, а после уже рисовали фломастерами, лаком для ногтей и белым школьным «штрихом-замазкой».

В центре кабинки из пола торчал круглый штурвал на длинной, словно у поганки, ножке. Его предназначение оставалось для меня загадкой, и я думал, что за этот железный обруч следует держаться, если колесо решит куда-нибудь ускакать.

Конструкция в парке Пушкина походила на чертово колесо из Припяти и вызывала затхлые, потертые и какие-то позавчерашние эмоции, будто катилось назад — во времена, когда месяц в дате записывали римскими цифрами.

Впрочем, в последние годы на нем почти не катались: конкуренция согнала клиентов с истыканных сидений, и люди предпочитали улетать под облака верхом на современных, высоких колесах обозрения с музыкой, Wi-Fi и мягкими креслами. При

желании прямо в закрытые, безопасные кабинки подавали шампанское и ананасы. В городе работало несколько таких каруселей — лощеных и актуальных, на их фоне колесо в парке Пушкина выглядело приспущенным.

В какой-то момент мне казалось, что я являюсь единственным человеком, который пользуется аттракционом. По неким иррациональным, неведомым причинам колесо, поскрипывая и гудя, крутилось, даже несмотря на ничтожный спрос. Железная ось вращалась и вращала планету, а я платил восемьдесят рублей и с удовольствием вращался в бледно-желтой кабине.

Принципиальной проблемой колеса обозрения в парке Пушкина являлась даже не его унылость и отсутствие Wi-Fi, а то, что нечего было обозревать. Дело в том, что рядом с парком, на месте бывшего танкового училища, построили жилой комплекс — поляну траурно-серых, однотипных панелек.

Одна из них шестнадцатизэтажным параллелепипедом выросла буквально впритык колесу, которое оказалось ниже здания, поэтому у человека в кабине имелся выбор: либо смотреть на фасад дома, либо в другую сторону, где ничего интересного.

Я предпочитал в тишине смотреть на панельку: без особого интереса, безучастно, наблюдая за жизнью большого дома. В этом медленном, скрипучем вращении мне казалось, будто моя жизнь отматывается назад, словно в нее, как в старую кассету, засунули карандаш и крутят, крутят, крутят, экономя заряд батареек в аудиоплеере. Перемотка успокаивала, настраивала на философский лад, позволяла посмотреть на себя сквозь время. На себя до ошибок, до спотыканий, до жизненных прорех и колдобин — на себя в окружении фонариков и гирлянд.

Почему-то мне часто махали руками и улыбались жильцы этой скучной панельки: дети, девушки, даже мужчины. Они показывали пальцами и передавали невербальные приветствия, кто-то хлопал в ладоши, кто-то звал домашних, указывая на меня, как на необычное оптическое явление или комету. Было непонятно, кто все-таки пользуется аттракционом: я или они?

Мои катания вскоре закончились — наступила зима, колесо покрылось пушистым инеем, на красные, желтые, зеленые кабины нахлобучили снежные ермолки. А ближе к весне колесо разобрали и, вероятно, сдали на металлолом — сеанс окончился, и я ходил грустный. И вот — внезапный звонок!

На следующий день после него я решил перезвонить человеку и сказать что-то вроде: «Вчера вы звонили на чертово колесо. Я, конечно, не оно, но мне кажется, я понимаю о чем вы. Мне тоже не хватает этой вращающейся ностальгии, давайте обсудим это, пообщаемся, кофе поьем или ситро».

Набрал сохраненный номер, но металлический женский голос сказал: «Абонент в сети не зарегистрирован». Возможно, мне позвонило само чертово колесо из прошлого. В конце концов, начало беседы было таким: «Алло, это чертово колесо».

Серп и молот

На крыше серой хрущевки возвышался железный серп и молот — последний солдат империи. Под ним с утра до вечера клокотали скороварки капитализма: ларьки с шаурмой, торговые центры и спа-салоны. Они чадили и шумели, а он одиноко висел, как тот лермонтовский парус, и тихо ржавел.

Металлические серпы и молоты почти везде в городе сбили и разломали, а про этот забыли.

В один осенний день его основание окончательно разъела ржа, подул северный ветер, и железный серп и молот глухо упал на голову начальника департамента экосистем и точек устойчивого развития.

Тело увез катафалк с надписью «Вечный зов». Торговцы шаурмой гортанно галдели и с разных ракурсов фотографировали на телефоны железного убийцу, который безучастно лежал в луже. Рядом стоял начальник местного ЖЭКа. Он переживал, что всех собак спустят на него, и, чтобы отогнать тревожные мысли, стал размышлять, что бы такое приладить на освободившееся место.

«Снеговика, наверное, повесим из светодиодов», — бормотал про себя начальник ЖЭКа, теребя в руках «жириновку».

А тем временем неповоротливая система начала скрипеть шестеренками. Завели уголовное дело, ведь кто-то должен ответить за несчастный случай, кто-то же выращивал этого ржавого динозавра на крыше. Кто-то его вовремя не снял, проглядел, прошляпил.

Серп и молот вытащили из лужи, погрузили в бортовую «газель» и в качестве вещдока привезли в полицейский участок.

— Семеныч, ты что, хочешь, чтобы у меня эта хрень в кабинете стояла? Она ж все пространство займет! — в сердцах сказал следователь районного УВД майор Иван Подкорытов своему коллеге — капитану Федору Семеновичу Паучкову.

Паучков вместе с курсантами академии МВД притащил огромный серп и молот к кабинету на втором этаже. Конструкция грязная и колючая, пока они ее тащили — в нескольких местах порвали казенный линолеум и перепачкали коридор ржавой кашей.

— И куда ж мне его? Это ж вещдок! — сказал Семеныч.

— Уносите его. Куда-нибудь во двор, где у нас, это самое, однурукие бандиты конфискованные стоят. Там под навесом есть место, — ответил ему следователь и подумал, что до пенсии по выслуге осталось два года, точнее, целых два года.

Следствие ни к чему не пришло. Поначалу хотели обвинить начальника ЖЭКа, ведомство которого должно было следить за крышей, но вскоре выяснилось, что по документам на этом месте уже пять лет висит баннер с рекламой ежегодного конкурса «Народный участковый», заказчиком которого является ГУВД.

Куда делся рекламный баннер, никто не знал, как не знал, был ли он вообще. В последний раз, когда начальство потребовало предоставить отчет о подготовке к конкурсу, Подкорытов попросил старшую дочку Полину прифотошопить баннер к фотографии дома.

Чтобы не подставляться под проверки, дело спешно закрыли.

— Человека ж не вернешь, — философски заметил Подкорытов, когда курил с Паучковым на лестнице. — Тем более, это самое, директор департамента экосистем и точек устойчивого развития, у него ж прописка московская, мы запросы делали, они нам какую-то хрень в ответ отправляют. Что, дескать, в базах такого человека нет. То есть как бы его вообще не существует.

— Труп есть, а человека нет? — спросил Паучков. — Я лично труп видел. Мужик такой среднего возраста, полноватый, в синем пиджаке, брюки со стрелками, портфельчик, пустой почему-то.

— Первый раз, что ли? Просто обычно это со всякими бомжами случается, а тут целый директор департамента экосистем и точек устойчивого развития. Хотя знаешь, а ведь и с департаментом этим черт-те что происходит. Непонятно, кто их учредитель, вроде они к области относятся, а вроде и федеральная структура. Звоним — трубку не берут, с офиса куда-то переехали. По документам тоже ничего не понятно. Чем они только занимались?

— Да фигней какой-то. Ничем. Понятно ж из названия.

— Ага, — Подкорытов подкурил еще одну сигарету и прислонился спиной к перилам.

Однажды весной, во время ежегодного ведомственного субботника железный серп и молот вместе с другим металлоломом отправили на переплавку.

Он еще несколько лет пролежал, придавленный старым холодильником и карданным валом, прежде чем попал на Волгоградский тракторный завод, где из него сделали... трактор? Нет, трактора там больше не делают. Из серпа и молота, убившего директора департамента экосистем и точек устойчивого развития, изготовят замечательную орешницу: запекать орешки со сгущенкой. На предприятии вместо тракторов делают орешницы.

Таким образом повторился сюжет сказки Ганса Христиана Андерсена «Старый фонарь». Старый уличный фонарь — друг звездочки, ветра и селедочной головы — после смерти стал подсвечником, а ржавый серп и молот стал орешницей.

В первый день пенсии следователь районного УВД Иван Подкорытов проснулся очень рано, было еще темно. Тихо, буквально на цыпочках, чтобы не разбудить жену, прошел на кухню. Достал из холодильника початую бутылку водки, выпил сто грамм, закусил огурцом, сел за стол и раскрыл ноутбук.

— Теперь с утра пить будешь? — жена все-таки проснулась и заворчала.

— Слушай, мать, знаешь, хочу орешков со сгущенкой, как в детстве, помнишь? В магазине фуфло какое-то, мы с мужиками покупали. Приготовишь, а? Вот тут на «Вайлдерберисе», я вижу, продаются, Волгоградский тракторный завод делает, представляешь. А в войну танки делал.

Иван Подкорытов еще какое-то время посидел в сети, а потом снова выпил и проспал до обеда. Спешить ему было некуда. Майору приснилось детство. Советский Семипалатинск, и он маленький на залитой солнцем кухне ест обжигающие орешки со сгущенкой.